

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЮНОСТЬ



Глава первая

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ

ТАНЯ

Раз-два! Сперва все ножи я воткнула в песок крест-накрест, и получилась прекрасная решетка, совсем как вокруг губернаторского садика на Расстанной. Потом стала по очереди вытаскивать их и снова втыкать — так было веселее работать. В общем, я даже любила чистить ножи, мне нравилось, когда они начинали блестеть. Вытирать посуду — это тоже было ничего, если бы Домна Ефимовна не сердилась, когда нужно было просить у хозяйки чистое полотенце. Сердилась она на хозяйку, а попадало-то мне! Мыть тарелки — это было хуже всего, потому что официанты ставили глубокие тарелки на мелкие селедочные, а селедку у нас жарили на постном масле, и такую посуду было очень трудно отмыть.

Сильный мороз стоял на дворе, и левая рука так замерзла, что даже хотелось постучать ею, как деревяшкой. Но все-таки я вычистила ножи, все до единого, только не стала натирать кирпичом. Трактир Алмазова был в городе, а мы с мамой жили за рекой, в посаде Замостье, и на том берегу начиналась дорожка, по которой ночами я боялась ходить. Черные тени косо пересекали ее, а над головой гулко стучали сухие, замерзшие ветки. Тихонько, чтобы не услышала Домна Ефимовна, я поставила под крыльцо ящик с песком и вернулась на кухню. Лучше было уйти незаметно, тем более что еще несколько грязных тарелок стояло на плите — эти были уже не от гостей, должно быть, сама хозяйка принесла их, пока я чистила ножи на дворе. Осторожно, чтобы не загреметь, я засунула тарелки подальше в стол — вымою утром. Но в эту минуту Домна Ефимовна вышла из своей каморки и закричала: «Ты что же это делаешь, дрянь этакая!» — хотя прекрасно видела, что я уже помыла лохань. Пришлось засучить рукава и снова приняться за работу.

Теперь я уже не думала о дорожке на том берегу, потому что все равно стемнело, городовые сменились, и газовый фонарь — единственный на всю Застенную — зажегся подле трактира. Теперь я беспокоилась, как бы мама не вздумала пойти мне навстречу, а она нездорова и утром, когда мы пили чай, все охала и жаловалась на сердце. Торопливо вымыла, вытерла я хозяйскую посуду, прибрала кухню и, обвязавшись крест-накрест платком, стала натягивать на себя старенькую жакетку. Но Домна Ефимовна снова вылезла из каморки — тощая, злющая, в очках, с седой крысиной косичкой.

— А керосин? Забыла?

Батюшки, да что ж это я? Керосин кончается, хозяйка велела сбежать к Бобриковым, а я забыла! Да не потеряла ли еще пятиалтынный? Нет, цел, слава богу.

— Сейчас сбегаяю, Домна Ефимовна.

— Сбегаешь! Небось закрылись уже!

— Не беда, зайду с черного хода.

Вот когда действительно нужно было спешить! А что, если Бобриковы не отпустят с черного хода? Бутыль стояла в сенях, я схватила ее, опротясь выбежала на улицу — и в двух шагах от меня промчались покрытые богатой медвежьей полстью широкие сани.

— Дорогу!

Сани круто повернули за угол, но я успела заметить, что в них сидят какие-то люди в светлых шинелях — гимназисты или офицеры?

Бобриковы отпустили с черного хода, я отдала керосин Домне Ефимовне, побежала домой и, спускаясь с Ольгинского моста, снова увидела этих людей в светлых шинелях. Они раздвоились, или у меня стало двоиться в глазах, но за первыми двумя поодаль шли еще двое. Потом они замедлили шаги и стали негромко разговаривать; до меня, к сожалению, не доносилось ни слова. Они стояли и разговаривали, как будто был не декабрь месяц, а май, когда молодежь из окрестных деревень приезжала погулять в посадe.

Это было действительно странно! Зачем они приехали сюда так поздно? Зачем свернули с набережной и пошли через поле? Что собираются делать в двух шагах от кожевенного завода,

у которого теперь, во время войны, всегда стояла охрана? Почему двое отошли в сторону, а двое закурили и, постояв, стали крупно шагать по полю, точно собралась измерить его шагами? Снег был глубокий, они проваливались, но все-таки продолжали шагать. Почему двое оставшихся в стороне сняли шинели? Было очень холодно, но они как ни в чем не бывало бросили на снег шинели и медленно, как бы нехотя пошли навстречу друг другу...

Луна была ясная, и, когда они остановились в двадцати шагах друг от друга, я, как на экране, увидела их в гимназических куртках, с ремнями и светлыми бляхами, на которых, казалось, можно было даже различить большие буквы «Л. Г.» — Лопухинская гимназия.

В ту пору я все выбирала — у меня была такая привычка. Среди учениц прогимназии Кржевской, которых я видела лишь издаലെка в их белых передничках и коричневых платьях, я выбирала подруг. Я выбирала дома, в которых мне хотелось бы жить. Сейчас из двух гимназистов, стоявших друг против друга, я выбрала того, который стоял слева. Он был высокий, прямой, с откинутыми назад плечами. Фуражка у него была надета низко, и нос из-под козырька казался неестественно длинным. Он смотрел мрачно, пристально, исподлобья. Но все-таки я выбрала его, потому что второй был какой-то неприятный — полный, с короткими ногами. Должно быть, ему было холодно, потому что время от времени он начинал трястись, торопливо дыша на дрожащие пальцы.

Мне тоже было холодно, и я бы охотно ушла — мама, должно быть, заждалась! Но это было невозможно, потому что я никак не могла понять, что они собираются делать.

И вдруг мне пришло в голову, что это дуэль.

Правда, я знала, что такое дуэль, и это хождение ночью в поле и разговоры были совершенно на нее не похожи. Я видела в кино, как настоящие мужчины дрались на настоящей дуэли. Они были красивые, в цилиндрах, и когда подросла полиция, один был уже убит, а другой ранен.

Но и это была дуэль! Меня даже затрясло, так стало вдруг интересно. Очевидно, те, которые отмеривали шаги, уговаривали тех, которые стояли. Они доказывали что-то, убеждали — в чем и зачем? Но эти уговоры не привели ни к чему, потому что,

совершенно одинаково махнув рукой, те, которые отмеривали шаги, достали откуда-то два револьвера...

В эту минуту облако нашло на луну, снег перестал искриться, лужок потемнел. По-прежнему молча стояли друг против друга два гимназиста, но точно что-то новое, страшное вдруг отделило их от двух других, которые отошли теперь далеко, как бы отчаявшись что-либо изменить. Мрачно, из-под низко надвинутой фуражки смотрел на своего противника первый гимназист. Крепко прижавшись к плечу щекой, выставив вперед ногу, испуганно-злобно и как бы с отчаянием смотрел второй.

Я хотела крикнуть им, что здесь нельзя стрелять — военный завод! Но было уже поздно. Полный гимназист поднял руку, выстрелил... И ничего не произошло, должно быть, промахнулся.

Теперь стал целиться другой, в надвинутой на лоб фуражке. Без сомнения, он нарочно целился так долго — то в лицо, то в живот. Наконец, сказав: «А, черт с тобой!» — он отвел руку и выстрелил в сторону. Он выстрелил в мою сторону, это я поняла еще прежде, чем услышала выстрел. Он выстрелил в меня и, кажется, попал, потому что я увидела небо — и вовсе не там, где оно было мгновение тому назад. Не там, над гимназистами, над полем, которое, переходя за Степановским лужком в косягор, поднималось к черной громаде завода, а высоко перед собою.

Только что мне было холодно, я не хотела, чтобы они стреляли, и волновалась. А теперь мне было не холодно, и я несколько не волновалась. Я лежала и смотрела в небо. Я знала, что он попал в меня и убил и что сейчас все кончится навсегда.

* * *

Придя в себя, я прежде всего вспомнила эту минуту — когда почувствовала, что сейчас кончится не знаю что, но самое последнее в жизни. Я лежала, не открывая глаз, и думала. Было трудно вздохнуть, но все это происходило уже после той последней минуты. После! Я стала радостно, шумно дышать. И потом несколько раз возвращалась к этому счастливому «после».

Но где я? Что со мной? Что это за маленькая высокая комната с темным кругом на потолке? Какая-то таблица висела на стене, два одинаковых темно-красных комода стояли рядом, покрытые одной довольно грязной накидкой с кистями, — значит, я не в больнице? И не дома?

Я хотела привстать, оглядеться, но в эту минуту где-то очень близко за стеной раздалась шаги и что-то тяжелое стало толкаться о стены. С медленно бьющимся сердцем я долго слушала эти удаляющиеся, тяжело переступающие шаги. Огромный зверь вроде мамонта, которого я видела в «Природоведении» у Лельки Алмазовой, представился мне, и я почти увидела, как он спускается с лестницы, упираясь в стены боками.

Шаги умолкли, и с другой стороны, за стеной, послышались скрип пера и долгое невнятное бормотанье. Я прислушивалась, переставала, снова прислушивалась — все скрипело да скрипело перо, кто-то грустно бормотал за стеною.

Но самое главное заключалось в том, что в этой комнате я была не одна.

Он был совсем другой, чем вчера, — я еще не знала, что меня чуть живую привезли в этот дом не вчера. Тогда под тенью козырька у него было острое, злое лицо. А сейчас — доброе и веселое, как у ангела на картинке, которую мадам Гутман, хозяйка писчебумажного магазина, бесплатно выдавала всем, кто покупал у нее больше чем на пятьдесят копеек.

Подложив под щеку ладонь, скорчившись так, что подбородок упирался в колени, он крепко спал в старом кожаном кресле у моего изголовья. Он спал, хотя было утро или день и яркое солнце смотрело в окно, освещая странные домики с многоэтажными крышами, изображенные на выгоревших обоях.

Мне было трудно дышать, какие-то твердые бинты с палками на груди мешали мне, я не могла даже подняться на локте. Но я все-таки поднялась. Я долго разглядывала его. Он неслышно дышал, и вокруг было так тихо, как будто дом был заколдован и все остановилось в этой солнечной, однообразной тишине, прерываемой лишь скрипом пера да сонным бормотаньем за стеною. К счастью, мамонт больше не спускался с лестницы, хотя теперь мне даже немного хотелось, чтобы он спустился еще раз.

Зато я сама куда-то спускалась, очень медленно — как будто даже нарочно так медленно, чтобы не было страшно...

Когда я очнулась или проснулась снова, был уже вечер, потому что пагоды на стене — я потом узнала, что эти зданьица с многоэтажными крышами называются «пагоды», — были красными от заходящего солнца. Два голоса спорили надо мной,

и, прежде чем совсем открыть глаза, я несколько раз приоткрывала их и опять закрывала.

— Мало того что ты чуть не утопил мальчика из прекрасной семьи, — сердито говорил женский голос, — теперь еще эта история, о которой говорит весь город! Имей в виду, что больше я не ударю пальцем о палец! Расхлебывай сам эту кашу. Тебя исключат...

Вот тут я в первый раз широко открыла глаза. Я увидела полную даму в пенсне, которая, гордо закинув голову, смотрела куда-то мимо меня. У нее была старомодная твердая прическа с валиком — таких уже давно никто не носил, и мне показалось, что все на ней такое же твердое, как эта прическа, — юбка до земли, шнурок от пенсне. Даже боа (она была почему-то в боа), которому по природе полагается быть мягким, тоже как-то твердо лежало на ее полных плечах. Давешний гимназист, улыбаясь, стоял у меня в изголовье.

— Мамочка, честное слово, не стоит так волноваться! В крайнем случае переведут куда-нибудь... И еще лучше! На пари — золотая медаль!

— Не переведут, а исключат.

— Однако Раевского не исключили.

— У Раевского отец — директор банка.

— Тем более! Неудобно же его оставить, а меня исключить.

Полная дама сняла пенсне, и я увидела, что ее близорукие глаза были полны слез.

— Да что говорить, — сказала она и безнадежно махнула рукой. — Никогда я не думала, сколько будет горя с тобой. И так бьешься как рыба об лед, только и думаешь, как бы вытянуть вас, а ты...

Она хотела уйти, но гимназист обнял ее, даже не обнял, а обхватил сверху, потому что оказалось, что она ему едва по плечо.

— Конечно, плохой, что же делать? — с нежностью сказал он. — Но ведь я же слово дал, вы об этом забыли? Если Таня поправится...

Я смотрела на него через щелки век, но, когда он сказал «Таня», поскорее снова закрыла глаза.

Они еще спорили, но я больше не слушала их. Мне стало так страшно, что я не поправлюсь, что я даже сжала колени и положила ладони на грудь. Нужно было сделать что-нибудь — встать или крикнуть.

— Мамочка!

Полная дама вздрогнула и бросилась ко мне:

— Очнулась? Таня, милая! Очнулась?

— Очнулась? — дрожащим голосом спросил гимназист.

Он выбежал, и из комнаты в комнату стало передаваться: «Очнулась, очнулась!» Сперва переспросил высокий мальчишеский голос, потом старческий — кажется, тот самый, который только что бормотал за стеной. Залаяла собака, захлопали двери, и старик в длинном сюртуке, в измятых штанах, засунутых в огромные боты, вошел и, опираясь на две палки, остановился в дверях.

Я снова закричала:

— Мамочка!

Все стало сдвигаться перед глазами, домики с многоэтажными крышами снялись со стен и рядами стали уходить от меня.

Полная дама взволнованно сказала кому-то: «Полотенце!» — и, называя мою мать по имени-отчеству — это поразило меня, — послала кого-то за ней. Страшный старик, тяжело опираясь на палки, подошел к моей постели и не сел, а свалился в кресло. Он взял меня за руку и стал прислушиваться, глядя прямо в мое лицо грустными глазами. И все на цыпочках вышли.

Возможно, что он поил меня с ложечки какой-то жидкостью, довольно приятной на вкус, которую непременно нужно было выпить — так он сказал, — чтобы пришла моя мама. Я послушалась, и правда — мама пришла, и я, как всегда, немного огорчилась, что у нее такие черные, провалившиеся глаза и такая морщинистая, худая шея.

Я сказала ей:

— Мама, возьми меня домой.

Она поцеловала меня и стала говорить, что теперь — скоро, а прежде нельзя было, доктор не велел. Я уснула, держа ее руку в своей.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ АНДРЕЙ

Мальчик лет тринадцати в гимназической серой рубашке неторопливо подошел ко мне, когда я очнулась. Он был чем-то похож на давешнего гимназиста, и я подумала, что они, наверное,

братья. У того были веселые серые глаза, а у этого тоже серые, но тяжелые, с ленивым выражением.

— Тебе нужно что-нибудь? — спросил он. — Хочешь чаю?

Я покачала головой.

— Ничего не ела целый день, — медленно сказал мальчик. —

Ну, хлеба с маслом? Съешь, пожалуйста, а то мне неприятно, что ты голодная.

Я сказала:

— Потом.

— Ладно. — Он подумал. — А теперь вот что: ты имей в виду...

Он смотрел прямо на меня — даже не смотрел, а разглядывал, — и так внимательно, что мне стало неловко.

— Ты имей в виду, что все это вранье.

— Что вранье?

— А вот что мать говорит, что она к тебе привязалась. Она твоей матери сказала, я слышал. Это невозможно хотя бы потому, что ты все время была без сознания. К тебе можно было так же привязаться, как к бревну. Она это утверждает, чтобы твоя мать не подняла шуму. То же самое и насчет прогимназии.

— Какой прогимназии?

— Когда ты поправишься, — задумчиво продолжал мальчик, — она обещала отдать тебя в прогимназию Кржевской.

— Меня? В прогимназию Кржевской? — Я открыла рот, чтобы не задохнуться от счастья, и поскорее положила руку на грудь. Я буду ходить в коричневом платье с черным передником, носить книги на левой руке, учить уроки, получать отметки...

— Твоя мать портниха?

— Да.

— Значит, ты бедная?

Я пробормотала:

— Не знаю.

— Наверно, бедная, если даже не можешь поступить в прогимназию Кржевской. Мы тоже бедные, хотя мать почему-то не хочет в этом сознаться.

Он помолчал.

— Тебе интересно, что происходит в душе?

Я сказала, что интересно.

— Один день я совершенно не врал. Кажется, что это очень мало. А на деле — много, потому что большинству людей прихо-

дится врать буквально на каждом шагу. Например, ты утверждаешь, что не хочешь чаю. Это вранье из вежливости. Ты вежливая и поэтому врешь. Бывает вранье от гордости, страха и так далее. Я составил таблицу — видишь, висит на стене. Я тебе ее потом объясню.

Он вышел и через несколько минут принес мне стакан чаю и два сухаря.

— Да, здорово тебе досталось, — сказал он, поставив чай и сухари на комод (так, что я все равно не могла их достать) и забираясь в кресло с ногами. — Просто чудо, что ты осталась жива. Очевидно, крепкий организм. Он трое суток возле тебя просидел.

— Кто?

— Митька. Сам чуть не умер. Возможно, что он тебя жалел, раскаивался. Но, по-моему, он боялся не того, что ты вообще умрешь, а того, что, если ты умрешь, его отправят на каторгу или в арестантские роты. Впрочем, полной уверенности у меня нет, так что пока ты думай что хочешь.

Я помолчала. Мне было приятно, что он так серьезно со мной говорит.

— У меня мать боится городских, — снова сказал мальчик. — Это странно, потому что она ни в чем не виновата. Но, видя городского, она становится очень любезной, чего не бывает почти никогда. Она их подкупает.

— Зачем?

— Они приходят с протоколами на Митьку, и она каждый раз дает им по рублю. В среднем это выходит по пяти рублей в месяц. Но, конечно, то, что он тебя чуть не убил, обойдется дороже... Это уже бенефис. Ты застрахована?

Я не знала, что такое «застрахована», но на всякий случай сказала, что да.

— Тогда придется еще и твою страховку платить.

Он увидел чай и сухари на комод, и у него стало расстроеное лицо.

— Ах так? — сказал он и правой рукой стал закручивать кожу на левой. Он ущипнул себя, изо всех сил закрутив кожу. — Не удивляйся, — добавил он и улыбнулся, хотя я видела, что ему очень больно. — Это я отучаюсь. Понимаешь?

- Нет.
- От рассеянности.
- Он взял чай с комода и поставил на стул, у моей постели.
- Пей, пожалуйста. Что тебе еще принести? Ты ведь теперь можешь жевать?
- Могу.
- Вот и хорошо. Я тебе еще принесу хлеба с маслом.

Вот что рассказал мне Андрей — так звали этого мальчика. Оказывается, когда Митя выстрелил в меня, я так закричала, что ему потом чудился этот крик до утра. Они подбежали ко мне, но долго не могли понять, что случилось, пока не заметили, что у меня на груди платок весь мокрый от крови. Раевский предложил отправить меня в больницу, но Митя сказал: «Я это сделал, я и буду отвечать» — и повез меня к Агнии Петровне, к той полной даме в пенсне, которая была, как я потом узнала, матерью Андрея и Мити.

— Но возможно, что как раз наоборот, — заметил в этом месте Андрей. — Он боялся, что придется отвечать за тебя, и именно поэтому настоял, чтобы тебя не отправляли в больницу.

Так или иначе, но меня привезли в этот дом, когда я уже почти не дышала. Агния Петровна чуть не сошла с ума. Митя тоже был в таком отчаянии, что пришлось отнять у него револьвер, чтобы он не покончил с собой.

Главный врач военного госпиталя, которого он разбудил в два часа ночи и от которого не ушел, пока этот врач-генерал не согласился поехать, сказал, что меня нельзя трогать с места. Он сказал, что я все равно, вероятно, умру, но если меня начнут таскать, то я умру очень скоро. Пуля прошла очень близко от сердца, к счастью навывлет, и только слегка задела что-то такое, без чего совсем нельзя жить, даже десять минут.

И вот меня уложили, а Митя уселся подле моей постели и не уходил трое суток, пока наконец сама Агния Петровна не уговорила его отдохнуть.

Несколько раз мне было совсем плохо. Тогда Агния Петровна плакала и говорила, что Мите обеспечены арестантские роты. Мою мать она всячески стремилась подкупить — во-первых, деньгами, а во-вторых, прогимназией Кржевской. Но мать

не понимала, чего от нее хотят, и бессмысленно уверяла, что я все равно поправлюсь. «Бессмысленно» — так сказал Андрей, но я-то поняла, что совсем не бессмысленно, а потому, что она гадала на меня и вышло, что я поправлюсь.

Глаша Рыбакова тоже приходила ко мне, но Агния Петровна ее не пустила.

— А кто эта Глаша Рыбакова?

— Да, ведь ты не знаешь, — сказал Андрей. — Это барышня, в которую влюблены Раевский и Митя.

Глаша была гимназисткой восьмого класса. Она была красавица, но Агния Петровна не хотела, чтобы Митя женился на ней, во-первых, потому, что ее родители были какие-то темные люди, а во-вторых, потому, что у нее брат «зачитался» и его отправили в сумасшедший дом. Зачитался — это означало, что он прочел больше книг, чем могла переварить его голова. Но Агния Петровна утверждала, что это только предлог, а на самом деле все Рыбаковы идиоты. Об этом она часто спорила с Митей, и однажды Андрей слышал, как Митя сказал, что он все равно женится на Глашеньке, потому что иначе у него будет «кукольный дом». А Агния Петровна сказала, что для Мити Ибсен важнее, чем мать. Ибсен был писатель, в которого Митя верил как в бога и который, оказывается, написал пьесу «Кукольный дом».

Все это было очень интересно, хотя я и не все поняла. Красавица — вот что меня поразило! Как наяву, я увидела ее с распущенными белокурыми волосами, в бальном платье с белым атласным корсажем. Таких красавиц я видела на новогодних открытках.

— А она знала, что они собираются драться?

Оказывается, знала. Один из секундантов заехал к ней накануне, но она засмеялась и сказала, что она тут вообще ни при чем.

— Это подло, правда? — спросил Андрей, подумав.

Я согласилась, что подло.

Что же произошло после этой дуэли? Ничего особенного! Исправник вызвал Агнию Петровну, и если бы у него не стоял на прокате самый лучший концертный рояль, за который он уже целый год ничего не платил, Митя был бы выслан в уезд. При чем тут концертный рояль — это было не очень-то ясно! Но Андрей не стал объяснять, а я только подумала и не спросила.

«ДЕПО ПРОКАТА РОЯЛЕЙ И ПИАНИНО»

«Депо проката роялей и пианино» — вот как назывался этот дом, в котором я лежала и поправлялась, хотя врач-генерал объявил, что я непременно умру. Я и прежде знала, что в нашем городе существует такое депо. Это была первая вывеска, которую мне удалось самостоятельно прочесть, и я на всю жизнь запомнила большие белые буквы с веселыми хвостиками на ярко-зеленом фоне. Правда, мне казалось, что в этом депо, так же как и в пожарном, должна быть вместо лестницы дырка со столбом, по которому можно мгновенно спуститься вниз в случае тревоги. Но хотя дырки не оказалось, все-таки это был не совсем обыкновенный дом, навсегда оставшийся для меня именно «депо», то есть местом, где все происходит неожиданно и ничего нельзя предсказать. Неожиданно, например, за стеной появлялись мамонты, спускались и поднимались по лестнице — это грузчики таскали вверх и вниз тяжелые инструменты.

Кстати, это стало одним из воспоминаний моего детства: крики на лестнице: «Тащи, заходи!» — и беспомощно плывущий по воздуху рояль, похожий на какое-то животное, у которого только что отрубили ноги.

Я провела у Львовых шесть недель. Но все, что я увидела и услышала в «депо», было так ново для меня, что эти шесть недель еще и теперь кажутся мне чем-то очень долгим, интересным и стоящим как бы отдельно от того, что случилось потом. Конечно, мне запомнилось только самое главное, то, что поразило меня, когда врач позволил мне вставать. Я обошла всю квартиру и в каждой комнате нашла самое главное, а уже за ним, в отдалении, нарисовалось — и рисуется до сих пор — все остальное. Таким самым главным в комнате Андрея, где я лежала, отгороженной двумя комодами и полинялым ковром от столовой, была «таблица вранья», на которой он каждый вечер отмечал, сколько раз ему пришлось соврать и по какой причине.

Посреди таблицы шла зигзагами синяя линия — «кривая», как объяснил мне Андрей. При помощи «кривой» он определял силу и зависимость вранья от различных обстоятельств жизни. Таблица висела над изрезанным столом, который был завален тетрадками — не Андрея, а Мити и вообще старшего поколения,

учившегося в той же Лопухинской гимназии. Эти тетрадки тоже поразили меня. Все, что угодно, можно было найти в них: и труднейшие алгебраические и геометрические задачи с решениями, и письменные работы по латыни, и русские сочинения на любую тему. Не только Андрей, но весь его 4-й класс «Б» списывал с этих тетрадок. Это называлось «заглянуть к Шнейдерману». Шнейдерман был старший брат одного из Митиных товарищей и учился давно, лет десять назад. У него все было правильно решено, а по домашним сочинениям всегда стояло не меньше «четыре с плюсом».

В столовой самым главным для меня был портрет белокурого молодого человека с бородой и усами, в таком высоком стоячем воротнике, что сразу становилось ясно, почему у молодого человека такой растерянный, полузадушенный вид. Андрей сказал, что это «шарж на отца», то есть что художник нарочно нарисовал отца в смешном виде, чтобы друзья и знакомые подсмеивались над ним. Отец Андрея и Мити был известный адвокат, которого в Киеве черносотенцы убили камнем, когда он ехал из суда в открытой пролетке. После этого Агния Петровна с детьми уехала из Киева и поступила к фабриканту Юлию Генриху Циммерману, который открыл в Лопухине одно из своих «депо». Дом, в котором помещалось «депо», принадлежал Циммерману, и за свою квартиру Агния Петровна тоже платила ему.

В Митиной комнате самым главным была лежавшая на столе запаянная стеклянная трубка, о которой Андрей сказал, что это яд кураре и что одной капли этого яда достаточно, чтобы отравить сто семьдесят шесть человек. А сто семьдесят седьмой уже не умрет, но на всю жизнь останется инвалидом. Тут же он добавил, что, вероятно, это вранье и что в данном случае Митя врет «из желания порисоваться». Я не знала, что такое «желание порисоваться», и решила, что Митя просто хочет, чтобы его нарисовали. Таким образом, от меня надолго ускользнула таинственная связь между ядом кураре и этим невинным желанием.

Кроме яда кураре, у Мити на столе стояли пепельница из черепа и красная голова какого-то старика с острой бородкой и разлетающимися бровями.

Андрей сказал, что это бес Мефистофель и что он выведен в знаменитой опере «Фауст». На лысой голове Мефистофеля,

на бородке и даже на носу было множество надписей и изречений — некоторые очень странные и запомнившиеся мне навсегда. На носу было написано: «Гений или безумство!» Я спросила у Андрея, что такое гений, и он ответил, что гений — это, например, Шнейдерман.

В комнате Агнии Петровны самым главным было то, что комната была красная. Обои, гардины, кушетка с двумя низенькими пуфами по бокам, ковер над кушеткой, абажур на толстых шнурах — все было красное или розовое, но розовое лишь потому, что выгорело на солнце. Это было устроено очень давно и не для Агнии Петровны, а для ее сестры, которая никак не могла выйти замуж. По мнению Андрея, у нее была «отталкивающая внешность». Но на фоне этой красной комнаты ее внешность уже не так отталкивала, так что в конце концов один пожилой ветеринарный врач сделал ей предложение. И сестра уехала, а комната так и осталась красной. Андрей сказал, что если в эту комнату поместить быка, он сначала взбесится, а потом увидит, что абсолютно все красное, и станет смиренным, как теленок.

Комнату, которая находилась рядом со мной, занимал родной брат Агнии Петровны, дядя Павел, который так напугал меня, когда я очнулась. Он был больной и очень старый, чуть не на двадцать пять лет старше Агнии Петровны. Это он постоянно скрипел пером и бормотал за стеной. Но когда я присмотрелась к нему, мне показалось, что он не такой уж страшный. Стуча своими двумя палками, согнувшись пополам, он ходил по дому.

Дядя Павел был доктором, но уже давно почти никого не лечил. Зато он писал, и стоило заглянуть к нему в комнату, чтобы убедиться в том, что это у него получалось прекрасно. Вся комната была завалена бумагой, исписанной отчетливым мелким почерком — каждая буква отдельно. Под столом, на окнах, на шкафу — всюду лежали журналы, из которых торчали закладки. Он писал «труд», как сказал мне Андрей.

Все у Павла Петровича было ветхое и старомодное: ковровое кресло с выдвигной скамейкой для ног, столик для курения, висевшая над постелью выцветшая малиновая скатерть, оклеенная голубыми раковинками туфля для часов и очень много фотографий, на которых была одна и та же красивая дама — то в бархатном платье с длинным шлейфом, то в шлеме и латах,

то в русском национальном костюме. Сам доктор тоже был снят — еще совсем молодой, с бородой и усами, с цилиндром в руке и в белом жилете.

В комнате было два окна с широкими подоконниками. На одном стоял прибор, о котором Андрей сказал, что это микроскоп, вроде подзорной трубы, но подзорная труба увеличивает в сто раз, а микроскоп — в тысячу. На другом подоконнике было много стеклянных трубочек, заткнутых ватой, и в старом, треснувшем стакане постоянно лежало что-нибудь заплесневелое — кусочек сыру или апельсинная корка. В комнате всегда немного пахло плесенью, и от самого Павла Петровича — тоже.

Такая же ветхая, как и все в этой комнате, фисгармония стояла в углу. Иногда доктор играл на ней, и тогда фисгармония начинала вздыхать, как будто она была живым существом, которому нужно было набрать воздуха, чтобы не задохнуться.

СКОРО ДОМОЙ

Мама приходила ко мне каждый день, одетая нарядно, в кашемировой шали, которую она надевала только по праздникам или когда шла у Батовых — был в Лопяхине такой богатый купеческий дом.

Мне не нравилось, что, когда входила Агния Петровна, мама начинала говорить о забастовках на кожевенном или о том, что в Германии тоже голод, так что запрещено крахмалить белье, и Вильгельм II лично приказал чистить не сырой, а вареный картофель. Вообще что-то изменилось в маме за те дни, что я лежала у Львовых. Казалось, она была еще чем-то глубоко расстроена — не только тем, что случилось со мною.

Я думала об этом, а потом забывала.

Мне было некогда — просто не запомню, когда еще я была так занята! Андрей дал мне книгу «Любезность за любезность», я читала ее каждый день и каждый день узнавала такие вещи, которые прежде не могли мне даже присниться.

Суп, оказывается, нужно было есть совершенно бесшумно, причем ложку совать в рот не сбоку, а острым концом. Подливку не только нельзя было вылизывать языком, как я это делала

постоянно, но даже неприличным считалось подбирать ее с тарелки при помощи хлеба. Пока девушка не замужем, она по возможности не должна выходить со двора одна или с двоюродным братом. Нельзя было спросить: «Вам чего?», а «Извините, кузина, я не поняла», или: «Как вы сказали, дедушка?» В спальне молодой девушки все должно, оказывается, дышать «простотой и изяществом». С родителями — вот это было интересно! — следовало обращаться так же вежливо, как и с чужими. Дуть на суп нечего было и думать, но зато разрешалось тихо двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Но больше всего меня поразило, что при всех обстоятельствах жизни девушка должна быть «добра без слабости, справедлива без суровости, услужлива без унижения, остроумна без едкости, изящно-скромна и гордо-спокойна».

Я представляла себе жизнь по книге «Любезность за любезность»: муж в крахмальном воротничке сидит и читает газету; дети тоже сидят и молчат, потому что за столом, кроме «мерси», дети не должны произносить ни слова; никто не сопит, не зеваает, не хлебает громко и не дует на суп. Вдруг приносят телеграмму: неприятное известие — мы разорены. Я читаю и остаюсь изящно-скромной и гордо-спокойной.

Да, это была интересная книга, хотя она надолго отравила мне жизнь: почти полгода я не могла двинуть ни рукой, ни ногой, не вспомнив прежде, что советует по этому поводу «Любезность за любезность».

Но, конечно, не только эта книга заставила меня на время совершенно забыть свою прежнюю жизнь.

Прежняя жизнь — это был трактир Алмазова, в котором однажды я полдня простояла на коленях за пятнышко на столовом ноже. Это были поздние возвращения домой, сперва очень страшные и тоскливые, а потом привычные и все-таки страшные, особенно когда я поднималась на Ольгинский мост и картина бедного посада, раскинувшегося между рекой и полем, издалека открывалась передо мной. По крутой обледеневшей лестнице я спускалась на набережную, и голые, черные тополя встречали меня глухим звоном ветвей.

Прежняя жизнь — это была наша комната в доме «лично-почетного гражданина Валуева» (как было написано на доске

у ворот), в деревянном двухэтажном доме с такими тонкими перегородками, что мы с мамой привыкли шептаться, хотя нам нечего было скрывать от соседей. Как я ни была мала, но уже тяготилась знанием всего, что каждый час происходило в доме.

Прежняя жизнь — это была, например, Лелька Алмазова, которая, возвращаясь после уроков, нарочно проходила мимо меня со своей круглой заячьей муфточкой на шнурах, муфточкой, которая так нравилась мне, что один раз мне даже приснилось, что я ее съела. Лелька была дочерью хозяина и училась в прогимназии Кржевской.

Да мало ли чем еще была эта прежняя жизнь!

Так или иначе, она волшебным образом оборвалась в то мгновение, когда, сказав: «А, черт с тобой!» — высокий гимназист в сдвинутой на лоб фуражке направил на меня револьвер.

Оборвалась, и я нисколько не жалела об этом. Напротив, с тоской думала я о том, что пройдут две или три недели, и все это — трактир Алмазова, тополя, мамин шепот и ее непонятные слезы по ночам, — все начнется снова, а то, что я увидела и узнала в «депо», так и останется в «депо» навсегда. И больше всего я жалела, что не будет наших удивительных разговоров с Андреем.

Он приходил ко мне каждый день после гимназии, и я уже ждала его, хотя, конечно, не подавала виду и, когда он входил, всегда оставалась «гордо-спокойной». Книжки, стянутые ремешком, летели на пол, он усаживался в кожаное кресло и сразу начинал говорить. Когда я рассмотрела его, он оказался довольно плотным мальчиком с широкими плечами и широкой грудью. Но первое впечатление медлительности, пристального внимания и озабоченности чем-то таким, что для других людей не представляет интереса, сохранилось и даже стало сильнее.

В те дни, когда я поправлялась и уже начинала понемногу вставать, он был озабочен главным образом Митиными делами.

— Возможно, Митя даже не боится, что его исключат, — сказал он мне однажды, — потому что он уверен, что скоро будет революция, а после революции могут стать совершенно другие законы. У них в классе есть один монархист.

Я не знала, кто это монархист. В подобном случае полагалось «учтиво молчать». Я промолчала.

— Все остальные — эсеры, эсдеки и три кадета, — продолжал Андрей. — А монархист — один Катък. Знаешь «Гильзы Катыка»? Но это тоже вранье. Просто он хочет отличаться хоть чем-нибудь от других.

Мне захотелось спросить, зачем Катыку отличаться хоть чем-нибудь от других, но, чтобы не попасть впросак, я промолчала. Впрочем, куда больше меня интересовало другое, и, постаравшись придать своему лицу «изящно-скромное» выражение, я спросила Андрея, как он думает: женится ли Митя на Глашеньке Рыбаковой?

— Женится, — подумав, сказал Андрей. — Но для него это не имеет большого значения. Мама говорит, что это первая любовь, хотя, по-моему, не первая, потому что Митя уже несколько раз собирался жениться.

Насчет первой любви я прочитала, что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом». Но это, очевидно, не имело отношения к нашему разговору, хотя бы по той причине, что насчет Митиной первой любви, о которой говорил весь город, нельзя было сказать, что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом».

— Ему вообще не так легко жениться, — помолчав, продолжал Андрей. — У него ведь компания.

— Какая компания?

— Зернов, Ковалевский, Лазарев, Колюшкин из «А» класса и Рубин. Эта компания на него влияет, чтобы он не женился, особенно Рубин. Но если Митя решится — кончено! Увезут.

— Кого?

— Глашеньку. Увезут на тройках в Петров, и ищи ветра в поле.

Петров был соседний городок.

— У них все за одного, один за всех. Знаешь, что у них на выпускном жетоне будет написано? «Счастье — в жизни, а жизнь — в работе». Между прочим, я почти согласен с этим девизом. Хотя что счастье — в жизни, это глупо. Несчастье — тоже в жизни. Но они таким образом выводят, что счастье — в работе. Это, пожалуй, верно. Как ты думаешь?

Я сказала, что смотря какая работа...

Самого Митю я почти не видела. С тех пор как я очнулась и главный врач-генерал объявил, что как это ни странно, но я, очевидно, поправлась, Митя исчез и совершенно перестал

интересоваться моей судьбой. Только раз, заглянув в мою комнату, он спросил бодрым, равнодушным голосом: «Ну, как дела, Татьяна? Вид прекрасный!» — хотя у меня не мог быть прекрасный вид, потому что я в тот день объелась стручками.

Андрей сказал, что это для него характерно.

— В данном случае ты — это прошлое, — объяснил он. — А для людей типа Мити прошлое вообще не имеет большого значения.

Мама сказала, что на днях возьмет меня домой, и каким же коротким показалось мне это «на днях» в сравнении с теми длинными, однообразными годами, которые я должна была провести в посаде Замостье. Агния Петровна подарила мне книгу — сочинения Пушкина, а маме — свое старое бальное платье из шелка дамасэ, покрытое тюлем, по которому были нашиты блестки. Уже меня пригласили к столу и был подан обед, который никто не называл прощальным, но который все-таки был прощальным, потому что меня в первый раз пригласили к столу. Между прочим, за этим обедом я поразила весь дом своей вежливостью, ни разу не спросив: «Чего?», а говоря: «Как вы сказали, Агния Петровна?», или: «Извините, дедушка, я не поняла». На суп я, правда, подула, но сразу же спохватилась и стала двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Уже Андрей спросил меня равнодушно:

— Уезжаешь?

И соврал, потому что он вовсе не был так уж равнодушен к тому, что я уезжаю.

Уже мне представилось, как я буду прощаться с пагодами на обоях, с кожаным креслом, с кругом от керосиновой лампы на потолке, на который я всегда смотрела, засыпая. В последний раз я услышу стук посуды, доносившийся из столовой, вздохи старой фисгармонии, голоса Митиных друзей, каждый вечер споривших о старшем брате Рубина — «политическом», который был арестован в прошлом году. Уже я уложила, то есть завязала в платок две книги, рукоделие и резинку «Слон», которую подарил мне Андрей. И вдруг обо мне забыли! Весь дом, начиная с Агнии Петровны и кончая прислугой Агашей, оказался так занят, что обо мне забыли, и я осталась у Львовых еще на несколько дней.